

.....

*

Свобода как эсхатологическая реальность¹

Я начну со стихов, которые я люблю со школьных лет. Это стихотворение П.Элюара. Когда-то я узнала его в переводе П.Антокольского, а теперь, для нашего разговора, перевела заново.

На школьных моих тетрадах
На липовой коре
На зыбком песке на снеге
Я имя твое пишу

На всех прочтенных страницах
На всех пустых листах
Камне крови бумаге и пепле
Я имя твое пишу

На позолоченных рамах
На винтовках солдат
На королевской короне
Я имя твое пишу

На джунглях и на пустыне
На гнездах на кустах
На каждом эхе детства
Я имя твое пишу

¹ Выступление на Международной научно-богословской конференции «Свобода – дар Духа и призвание в церкви и обществе», Москва, 16–18 августа 2006 года.

На откровенных ночи
На белом хлебе дней
На первых днях обрученья
Я имя твое пишу

На клочьях мосей лазури
На заводи солнце мхе
На озере лунной ртути
Я имя твое пишу

На нивах до горизонта
На быстрых крыльях птиц
На мельнице светотени
Я имя твое пишу

На каждом броске рассвета
На море на кораблях
На безумной горной вершине
Я имя твое пишу

На рыхлой пене тучи
На смертном поте грозы
На затяжном ненастье
Я имя твое пишу

На всех сверкающих формах
На колоколах цветов
На истине наглядной
Я имя твое пишу

На всех секретных тропинках
На торных прямых путях
На уличном столпотворенье
Я имя твое пишу

На лампе, во тьме зажженной,
На лампе, потухшей к утру
На всех домах приютивших
Я имя твое пишу

На яблоке разделенном
Между зеркалом и жильем
На пустой моей постели
Я имя твое пишу

На псе моем бедолаге
На приподнятых ушах
На лапе его неуклюжей
Я имя твое пишу

На трамплине порога
На знакомых вещах
На пламени благословенном
Я имя твое пишу

На всякой познанной плоти
На лице моих друзей
На каждом рукопожатье
Я имя твое пишу

На окне выходящем в чудо
На внимательных губах
За полосой молчанья
Я имя твое пишу

На укрытых моих разбитых
На рухнувших маяках
На стенах тоски и скуки
Я имя твое пишу

На полном равнодушьи
На голом сиротстве моем
На похоронных маршах
Я имя твое пишу

На вернувшемся здоровье
На исчезнувшей беде
На безоглядной надежде
Я имя твое пишу

И силой этого слова
Я вновь начинаю жить
Рожденный чтоб знать тебя
Чтобы тебя назвать

Свобода.

Это стихотворение написано в 1942 году в антифашистском подполье. Его краткое резюме: поэт пишет имя свободы на всей своей жизни и на всем, что он встречает в мире. При этом почти каждая конкретная вещь, которую он выбирает из этого «всего», поражает. Что происходит с этими вещами после того, как на них написано имя «свободы»? С «истиной наглядной», с «голым сиротством», с «каждым рукопожатьем»? Они становятся *открытыми*, они больше не заперты в собственной данности, у них есть другое, *будущее*. Тема свободы (в ее высоком регистре) непременно связана с будущим; несвобода (рабство, необходимость и т. п.) – с отсутствием будущего. И, тем самым, с отсутствием настоящего – в полном его смысле.

Элюар – не христианский автор, но то движение, которое он совершает в этих стихах, есть прямая противоположность действию антихриста, который, как известно, на

всем пишет свое имя или имя зверя (Апок. 13,16–17). Посвящение вещей свободе означает отказ от обладания ими. Это и есть «святая свобода» поэтической традиции.

Признаюсь: мне хотелось бы не перевести, а написать такое стихотворение. Я думаю, многим поэтам хотелось бы того же. По существу, они это и делали, в другой форме.

Пушкин:

Свободы сеятель пустынный
Я вышел рано, до звезды...

или:

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

(«Птичка»)

Или:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой...
(«К Н. Я. Плюсковой»)

Пушкинская «тайная (таинственная) свобода» станет законом русской поэзии.

Блок:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
(«Пушкинскому дому»)

Он же (о поэте):

Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
(«О, я хочу безумно жить...»)

Мандельштам:

– Я свободе, как закону,
Обручен, и потому...
(«О свободе небывалой...»)

Мария Петровых:

Не шум газетной оды
Журнальной болтовни
Лишь тишина свободы
Прославит наши дни. –

вплоть до Бродского:

Усталый раб – из той породы,
что зрим все чаще –
под занавес глотнул свободы.
Она послаще
Любви, привязанности, веры...

Да, вплоть, поскольку здесь нам придется подвести черту
и услышать о свободе совсем другое:

Нам всем грозит свобода,
Свобода без конца
Без выхода без входа
Без матери-отца

Посередине Руси
За весь двадцатый век
И я ее страшуся,
Как честный человек

(Д. Пригов)

Из слова «свобода» в нашем современном контексте исчезла поэзия, исчез высокий регистр ее смысла. Та свобода, о правомочности которой теперь спорят, прозаична. Ее имя – имя прав индивидуума перед безличными инстанциями, прав меньшинств, свободы выбора и т. п. (в либеральном истолковании). В устах тех, кто свободы страшится «как честный человек», – это название хаоса, беззакония, попустительства, это отпущение на волю всего

разрушительного в человеке. Никто не будет, как Элюар, писать на всех вещах таких имен, ни первого, ни второго. Быть может, мы были последней страной, где свобода – для некоторых, для ничтожного меньшинства¹ – в высшей мере сохраняла свой поэтический, нравственный и в своем роде («святая свобода» XIX века) религиозный пафос: «За нашу и вашу свободу». В этом лозунге была глубокая интуиция свободы: тот, кто узурпирует свободу другого, не свободен, насильник не свободен, лжец не свободен. Тот пафос свободы имел в виду не «неподчинение любому приказу», а неподчинение откровенному злу, отказ от соучастия в нем. Не «не хочу быть подневольным!» – а «Не хочу быть виноватым (низким, ничтожным, предателем!)», вот что значила эта страсть свободы.

Я не буду много говорить об отношении политическо-го и поэтического смысла свободы. Они несомненно связаны. «Тайная свобода» – это не свобода исподтишка. Многие свободолобивые стихи привычно истолковывают в простом политическом смысле. В самом деле, они часто возникают в обстоятельствах грубой политической несвободы. Но имеют в виду нечто большее и по существу другое. Художник и мыслитель, почитающий свободу, может быть – и чаще всего бывает – человеком консервативных и лоялистских взглядов в политике (как зрелый Пушкин, как Данте, мечтавший не о всеобщей анархии, а о всемирной монархии). Ведь лояльность – к относительно ней-

¹ Ср. дневниковую запись В.В.Бибихина о чтении С.С.Аверинцева: «Лучше всего он в предисловии, там, где говорит, как, сдирая с себя кожу, душа молитвенно рвется из мира, где говорит о свободе, жемчужине и царстве. Как я его понимаю, в этой страсти к свободе» // В.В.Бибихин. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. М.: Ин-т св. Фомы, 2004. С. 354.

тральным вещам – больше похожа на форму свободы, чем бунт (о чем говорит эпизод с динарием кесарю).

Осмелюсь обобщить: саму природу поэзии (и вообще искусства), ее любимую тему, ее форму и ее содержание составляет свобода («Рожденный чтоб знать тебя, Чтобы тебя назвать»). Свобода – первое условие самого творчества (известный сюжет: птицы в клетке не поют). Прославление свободы – и ее наглядная демонстрация, которую представляет собой каждое вполне удавшееся сочинение. Там, где нарушен закон свободы, красоты не возникнет. Рабское, расчетливое, трусливое, неискреннее некрасиво. (Чтобы не быть неправильно понятой: наглое не меньше, чем робкое, – знак рабства; ср. эпизод из Саксона Грамматика, пропущенный Шекспиром, в котором вещий Амур-Гамлет угадывает низкое происхождение королевы по «наглости в ее взгляде».) В свободе есть покой и великая стройность, как показывает нам искусство. Вот одна из прекраснейших строк русской поэзии:

Унылая пора, очей очарованье.

Эти слова, эти звуки вместе как будто свободнее, чем врозь. Мы не чувствуем ни малейшего насилия в их соединении – как будто они сами выбрали быть вместе.

В современных контекстах, как я уже сказала, свобода выглядит прозаически. Это никак не «последняя вещь», не «последнее слово».

Свобода рассматривается здесь как пустое и по преимуществу отрицательное понятие.

Пустое – поскольку предполагается, что свободу можно наполнить чем угодно и употребить как угодно, во зло и

во благо (едва начав говорить о свободе, тут же соскальзывают на возможность «злоупотребить» ей, и разговор этот быстро дает короткое замыкание где-нибудь на венчании однополых браков: а *это* тоже разрешать?). Прибегают к разным вспомогательным разделениям, чтобы отличить «хорошую», нужную свободу от вредной и непроизвольной: ср. такие уточнения, как «свобода от» и «свобода для», «свобода» – и «вседозволенность» и т.п. Прибегают к количественным измерениям: «слишком много свободы», «свобода, но в меру». Исходя из того смысла «свободы», о котором говорит искусство, из «тайной», т. е. таинственной свободы, это звучит приблизительно так, как если бы рассуждали: можно быть «живым», но смотря для чего! Или: следует быть «живым» в меру, немного живым, а в остальном мертвым. Это сопоставление свободы с жизнью возникло у меня не случайно: ибо приблизительно это, «жизнь», имеет в виду поэт, говоря о свободе. Можно ли представить, что «жизнь с избытком», которую принес Господь, не свободна? Живы ли мы, когда несвободны? Крайняя степень несвободы – смерть. Это описано в Псалмах. Высшая степень свободы – вечная слава, как сказал Данте: праведная душа, говорит он, переходит *ad aeternae gloriae libertatem*, к свободе вечной славы.

Пустота основных понятий (таких как «быть») – несчастье Нового времени. Привычное несчастье. В контраст этому С.С.Аверинцев («Поэтика ранневизантийской литературы») напомнил о фундаментальном *положительном* значении этих представлений в византийской мысли (да и вообще в средневековой христианской – примеры Аверинцева взяты из Фомы Аквинского! да и вообще говоря: в классической христианской мысли, которой может

обладать и наш современник: Христос Яннарас, например). Положительное значение «свободы» так же несоизмеримо с количеством и разделением на разновидности, как и «жизнь», как «бытие», если угодно.

Откуда взялась эта пустота, «нейтральность» основных понятий? Из того, что их событийность, чудо их реальности перестали ощущаться. Небытие вытеснено из *начала* этой мысли, которая движется в наличном («существующем»), как будто оно само собой разумеется. Поэтому небытие, смерть подстерегают эту мысль уже в конце, как всегда неожиданный ужас, как «главная забота человека», словами многих новейших философов, описывающих сущность человека как «бытие-к-смерти». Если бы оно, небытие, было взято в мысль изначально, тогда наличное сознавалось бы как чудо, как дар – и вызывало бы благодарность, которая и стала бы «главной заботой человека», «бытием-из-смерти». Но мы каким-то образом забыли, что мы принадлежим небытию *не после* жизни, а еще до нее. «Вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили», как говорит герой Б.Пастернака. Бытие возникает перед человеком из своей невозможности, и свобода – из своей невозможности. Ввиду *этой* пустоты такие понятия наполнены.

Далее, свобода как отрицательное понятие. Свободу понимают как отсутствие запретов и ограничений, выход из подчинения какой-то внешней, отчужденной от человека (если не враждебной ему по существу) силе. Однако свобода, прежде чем она – выход из-под какой-то внешней власти, сама есть власть. Власть быть чем-то или делать что-то. В греческом тексте Евангелия слово *eksusia* может переводиться и как «власть», и как «свобода»: «быть чадами

Божиими» (Ин. 1,12). Общий смысловой знаменатель «власти» и «свободы» – «сила». Свобода – не просто выход из-под действия другой, посторонней силы (в таком случае образуется та пустота понятия, пустота смысловая и энергичная, о которой мы говорили), а сама сила. Свобода перее, чем преодолеваемые препятствия свободе. Свобода перее, чем условия, как будто ее определяющие. *Если она есть*, добавим: если она дарована. Гетевские слова:

Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идет за них на бой –

во всяком случае односторонни. Иди не иди, но если прежде тебе не был каким-то образом внушен этот свет, свет жизни и свободы, не дана их сила, бой твой заведомо проигран. Если же она в самом деле дарована и удержана, ее никто не отнимет, как той радости, которую завещает Христос. Но о даровании чуть позже.

Отрицательна современная мысль о свободе и в другом, еще более важном плане. Предполагается, что ограничение свободы предостерегает нас от реализации негативных вещей – предосудительных, аморальных и т. п. Что в «нормальной» жизни, как в уголовном кодексе, если что и запрещено, то дурное. И потому в экстраординарной ситуации, на свободе человек непременно реализует прежде всего такие свои запретные желания. Кто спорит, часто именно так и случается. Мы оказались свидетелями того, как точно угадал Пушкин, когда предположил, что, если снимут цензуру, первым, что опубликуют в России, будут эротические шалости Баркова. Так и случилось – и куда еще Баркову до того потока «раскрепощенности», которым ознаменовались наши либеральные годы. Как будто все, от чего человека у нас освободили, были простейшие

нормы общежития, сочтенные теперь пуританством и ханжеством.

Но все же печаль земной жизни состоит не в том, что тебе не дают осуществить твои скрытые скверные или просто непохвальные желания. А в том, что тебе не дают осуществить твое лучшее, «тайное» (в описанном смысле) желание. Желание – для начала опишем его так:

...быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Желание живого, замечательно описанное А.Швейцера: «Я жизнь, которая хочет жить в живом окружении жизни, которая хочет жить»¹.

Отрицательное понимание свободы происходит из отрицательной антропологии, из отрицательного представления о человеческой *воле*, с которой и связана свобода. Негативная антропология – это общее во многих влиятельных учениях Нового времени, и ей отвечает бытовое сознание наших современников. Я исхожу из христианской антропологии. Это значит, что я думаю, что человек создан по образу и подобию Божию. Я понимаю, что эта фраза звучит, как слова моей пятилетней племянницы, которая важно говорила: «А я *считаю*, что родителей надо почитать». Но я в самом деле так думаю. И, следовательно, главное желание человека (не психологическое желание, не страсть, а, так сказать, морфологическое, формо- и жизнеобразующее желание, то есть воля, *velle*, в терминологии Данте) божественно. На другом языке об этом говорит Мандельштам:

Нам союзно лишь то, что избыточно...

¹ *Kein Sonnenstrahl geht verloren.* Worte Albert Schweitzers. Hyperion-Verlag. S. 87.

И вот его-то, это избыточное, безмерное желание человек и не свободен осуществить – и в силу устройства человеческого общества (известного нам как «*падший мир*»), и в силу собственных свойств (известных нам как «*грех*» и «*немошь*»). И другие, совсем не явно «*отрицательные*» причины (вроде конформизма, зависимости от человеческого мнения) могут запрещать нам осуществление такого, *лучшего* желания – а и вполне достойные вещи: например, долг, ответственность за других, уважение к принятым нормам и авторитетам... Есть еще *необходимость*. Может быть, то, что с особенной силой практически противостоит свободе, – это именно необходимость, древняя языческая Ананке, правящая и олимпийскими, и подземными богами. Необходимость говорит: да, *вообще* это хорошо, но не сейчас. Сейчас необходимо другое. А совсем хорошее не необходимо, оно избыточно. Так что – «*об этом поговорим позже*». Человек просто не может жить без взявшей его в оборот необходимости. Если она слабеет, он ее сам выискивает и придумывает (это видно по старым людям, от которых многие необходимости отступили): иначе, если он не делает «*необходимого*», его жизни нет оправдания, он не пригодился, он «*не нужен*». Страх остаться свободным как ненужным – отдельная тема, и я не буду ее сейчас касаться.

Свобода лучшего, «*славного*» действия, полноты жизни здесь и сейчас, без оглядки на прошлое и будущее, ограничена едва ли не в силу устройства самого нашего мироздания, «*старого неба и старой земли*», в границах времени и пространства. И вот здесь приходит на помощь Дух, в Котором свобода.

Об отличии божественного желания от просто «*доброго*» желания говорит евангельский эпизод с драгоцен-

ным миром (Мф. 26, 6–13, Мк. 14, 3–9, Лк. 7, 36–50, Ин. 12,1–8). Ропот сопровождает это действие – безумная трагедия того, что могло бы принести пользу бедным, могло быть употреблено на «доброе дело». Но именно это действие будет вспомнено «всюду, где проповедано будет Евангелие сие»: эта свобода любви. Ничто другое не удостоено такого обещания. Единственный раз на всем протяжении евангельского повествования произносится такой комментарий к человеческому поступку! Именно после этих слов в двух из четырех евангельских повествований Иуда уходит договариваться о цене предательства. Он, вероятно, может думать, что поступает «как честный человек» (из стихов Пригова), останавливающий опасное безумие.

И на этом эпизоде радуется сердце художника! На полной, очевидной жизни здесь и сейчас, без помысла о том, что происходит до или потом, кроме этого, и где-то еще, на этом единственном, бессмертном «не всегда» – рядом с постоянным и смертным «всегда» («нищие всегда с вами»). «Не всегда» – то есть «вот сейчас», «именно сейчас». «Я не всегда с вами» эти слова напоминают мне о свободе другого Утешителя, о Котором неизвестно, «откуда Он приходит и куда уходит». Что скажет на этом месте сторонник разумного ограничения свободы? Или толкователь свободы как «осознанной необходимости»? Радовать его это не слишком должно.

Свобода «жить вполне», то есть, «с избытком» в своей глубине состоит для человека (если мы говорим о человеке в его замысле) в свободе *даровать*, в возможности принести совершенную жертву.

До сих пор я ссылаюсь по преимуществу на поэзию – но думала при этом о христианстве. Я думаю, что в иных мо-

ментах стоит прислушаться к искусству как к истолкованию (или к смутному провиденью) некоторых содержаниях христианской вести. Свобода – одна из таких, особенно открытых искусству (и часто затененных для обыденного церковного восприятия) интуиций. Не случайно так часто настаивающие на своей церковности люди понимают свободу как совершенно внешнюю для них, сугубо светскую ценность, о которой и говорить всерьез не стоит. Послушание, чувство собственной греховности и благой страх, вот святыни этой религиозности. Святыня свободы (как и святыня красоты) для нее принадлежат другой вере. «Свободный ум» понимается здесь как ум, не связанный никакой доктриной.

Справившись с библейской симфонией, мы увидим, что «свобода», «свободный» – не слишком частые слова Св. Писания. Они употреблены в нескольких важнейших местах, но сами по себе как будто очень мало обсуждаются. Гимна свободе, как псалмические гимны Милости и Закону (справедливости), как гимн Премудрости у Сираха – и как гимн Любви в Послании ап. Павла, мы не встретим. Однако тема свободы лежит глубже, чем словарь: она заключена в самом «сюжете», в самой истории, которую повествует Св. Писание. Ведь это рассказ об освобождении. Что значит уже ветхозаветная Пасха? Однажды в Иерусалиме израильский писатель Йозеф Бар-Йозеф спросил меня: «Мы празднуем в Пасху, что освободились от египетского рабства. А вы, христиане, что празднуете, какое освобождение?» «От смерти, – ответила я не долго думая. – От греха. От мира сего». Он с интересом спросил меня: «Да? И вы теперь в самом деле уже не там?» «Really? And now you are outside, are not you?» Можете представить, что мне оста-

лось только вздохнуть. Дескать, ну не совсем, но вообще-то нам позволено... честно говоря, нам даже велено... да ведь и те, кто вышли из Египта, до свободы не дошли, все умерли в пустыне...

В пророческих книгах Мессия ожидается как Тот, кто выведет узников из темницы, освободит пленников, отобьет у врага или выкупит из плена. Мы привычно думаем об этом образе и его исполнении больше всего в связи с Сошествием во ад, с сокрушением засовов этой тюрьмы, с выведением душ из ада. «Плени плен», «пленил еси ад», «погребением Твоим адова пленивый царствия». Но освобождение Адама имеет в виду и другое. Это живые освобождены, выкуплены дорогой ценой из рабства у врага. «Страсти решительные (освобождающие)», как говорит литургическое песнопение о Страстях Христовых, освобождают нас не после нашей смерти! Дар не только свободы, но *власти освобождать* человека, передается Апостолам и составляет дело Церкви.

Освобождение, которое при этом совершается, нельзя уместить целиком в образ выведения из плена, из тюрьмы, снятия оков. Чтобы дать человеку свободно распрямиться (как той скорченной женщине) и ходить (как исцеленному ап. Петром хромоту), он должен был быть освобожден от своей внутренней несвободы, на которую обрекает уродство и болезнь. Освобождение здесь значит – исцеление заболевшего или даже сотворение нового здоровья, как в случае со слепорожденным. Человек должен быть освобожден от собственного прошлого (а такое, держащее нас в плену прошлое образуется очень рано; предполагается, что уже восьмилетнему ребенку есть от чего освобождаться на исповеди). Он должен быть освобожден от мира, в котором рожден, с его физическими, социальными и т. п. зако-

нами. Это значит: освобождение предполагает сотворение всего нового. На новой земле под новым небом и действует совершенная свобода. Вероятно, только там она и действует вполне. Поэтому я и назвала свое выступление «Свобода как эсхатологическая реальность». Но вспышки этого нового неба и новой земли, этот мир побежденной смерти, как мы знаем, не переносится целиком в «иной мир». Возможность их здесь и составляет благую весть.

Когда нам приходилось видеть движения, подобные действию той женщины с народным миром, мы чувствовали, что они и здесь – и как бы не здесь. Они разрывают «мир сей». Их нельзя забыть, потому что в них нет смерти. Они «последние вещи», за ними ничто не следует. Вопрос церковного отношения к ним – считать ли их некоторым эксцессом, избытком, а «просто» благочестивую жизнь – необходимостью? Или же наоборот: выверять все по ним как по единственно точному камертону? Ведь не только к воздержанию от дурного призваны люди Церкви – но прежде всего, к неуклонению от лучшего, безумного в глазах человека «мира сего», в том числе, и «честного человека». Без «будущей жизни» здесь и сейчас, без вспышек своего нового творения, мир движется к тепловой смерти.

2006

Разговор о свободе с А.И.Кырлежевым

А.К. У темы свободы – много аспектов, и разговор о свободе можно начинать по-разному. Вполне естественно начать его с того, как тема свободы звучит в последнее, постсоветское время – после выхода общества из ситуации «советской несвободы». Прежде всего другого в этот переходный период свобода, как мне кажется, выступала в значении освобождения.

О.С. Да, причем освобождения, полученного даром, сверху. Многим тогда приходила в голову параллель с освобождением крепостных в эпоху Великой Реформы. Никак нельзя сказать, чтобы это была отвоеванная или заработанная нашим обществом свобода. Исключение – чудесные дни августа 1991. Вот когда веяло не освобождением, а свободой, волей к свободе, любовью к свободе. Помните, какое послание тогда написал наш Патриарх – о стране, которая была подобна бесноватому и из которой, наконец, вышли бесы.

В России и в режимные годы была своя история свободы, не только история страданий и зверств – свободы чаще всего одиноких и гонимых людей. Но «освобожденная» страна не вошла в эту историю, не приняла *этого* наследства. Вольные годы быстро приобрели довольно неприглядный облик.

Вот одна из дарованных свобод – свобода вероисповедания. Дарованная она, конечно, для тех, кто пришел в храмы, когда стало разрешено. Для других эта свобода существовала и прежде, и мы знаем, чего она стоила: около миллиона уничтоженных за исповедание православия с 1918 до 1939. Им не нужны были разрешения. Но вот разрешили, и разрешением воспользовались миллионы. И посмотрите: идет процесс канонизации новых российских мучеников, свидетелей веры в богоборческом мире – а разве новый церковный народ чувствует себя *их* духовными наследниками? Могут ли новые православные подумать: это *наши* святые? Да нет, «нашими» для них были совсем другие люди. Тех они или не заметили, или смотрели на них с другой стороны. «Наш» для них был и остался маршал Жуков. А вот мать Мария «нашей» не будет.

Свободой воспользовались, как вольноотпущенники. Поведение вольноотпущенников хорошо описано у римских сатириков, и через две тысячи лет прибавить нечего¹. Вольноотпущенник, в отличие от свободного человека, на самом деле ничего не любит, все вокруг ему чужое; времени у него, он знает, не много: нужно скорей «оторваться», а там будь что будет. Он не различает безумных запретов прошлого (например, на абстрактную живопись или на употребление слова «гуманизм» без уточнения «социалистический») – и фундаментальных законов челове-

¹ Впрочем, есть образ поновее, чем древнеримский вольноотпущенник. Христос Яннарас в прошлом году, посетив Москву, которую он видел до того только в брежневские времена, так обобщил свои впечатления: «Раньше все здесь было похоже на монастырь – плохой монастырь, может быть, даже дьявольский монастырь. А теперь – на второсортный курорт третьего мира». Да, зона сомнительных развлечений и дурных денег... Таков эпицентр «столичной свободы».

ского общежития, от которых «освобождает себя» только мародер. Он не отличает искреннего уважения – от «покорности авторитетам». Преданности чему-то – от «зависимости». Он не отличает благодарного почтения к дару и труду другого человека от «культа личности» (сколько таких «культов» вроде «культа Ахматовой» оказалось развенчано! Зато в таких фигурах, как Берия, искали «трагические сложности»). Я помню знаменательную дискуссию о романе «Плаха» Ч.Айтматова. С.С.Аверинцев, указывая на нелепейшие ошибки в тексте, сказал, что тот, кто берется за евангельский сюжет, должен все-таки хоть что-то узнать об этом. На что «прогрессивный» критик возразил: «Хватит! Мы уже достаточно стояли по струнке!» Дело плохо, подумала я. По этой струнке – по струнке точного знания и добросовестного культурного труда – в советское время как раз никогда и не стояли. Больше того: по ней не позволено было стоять, это называлось «буржуазным объективизмом». Такая свобода – свобода от правды, от добросовестности, свобода от простых различий («а кто вообще что-нибудь знает?»), которые тебя к чему-то обязывают, – пришла как раз из советских времен. И разгулялась под новым именем «плюрализма».

А.К. Но ведь для так называемого «обычного человека» это была навязанная ситуация – освобождение. У него не было иного опыта – он был в рабском состоянии, и это была понятная реакция на снятие запретов.

О.С. Да, понятная и даже предсказуемая, но от этого не менее некрасивая. Ко времени перемен не только почти не оставалось сопротивления – но мало кто и чувствовал себя особенно ущемленным. И уж точно виноватыми себя

не чувствовали. Мои рассказы о жизни советских времен и ее правилах часто вызывают возмущение у тех, кто, как и я, жил в эти годы («ничего подобного не было!») – и изумление у их детей, моих студентов: «А мои родители этого не помнят!» Они ничего такого не заметили! И не странно: уже школьники умели тогда исполнять все эти запреты цинически. Я знаю это по опыту репетиторства. «Вы жизни не знаете, Ольга Александровна!» – говорили мне ученики 16–17 лет. «Знать жизнь» значило: писать сочинение «как нужно». Наверное, и многое другое.

Однако: о ком мы говорим как об «обычном человеке»? О молчаливом большинстве? Оно, мне кажется, и оставалось молчаливым в эти шумные годы. Вряд ли ему нравилось происходящее, особенно в экономической области. Да и в культурной. Но демократический авангард с этим большинством не разговаривал, ему ничего по-настоящему не объясняли. Так что для большинства неведомые у нас прежде «общечеловеческие ценности», «свобода», «демократия», «права человека» намертво связались с криминальным беспределом и разрухой. И, как мы видим, реакция не заставила себя ждать. Но интересно: взамен этой «чрезмерной свободы» люди требуют не столько закона, сколько «порядка», «крепкой руки», пресловутой «вертикали». То есть просто другой, привычной и «надежной» формы беззакония.

Я решительно против того, чтобы противопоставлять хищную анархию «свободных лет» советским временам как упорядоченным и законным. Они были абсолютно незаконными, на чем и держались – на «воле партии», на «исторической необходимости». За приверженность к законности, как известно, сажали и выслали (правозащитников). Во время освобождения это централизован-

ное беззаконие было «приватизировано», вот и все. Его опять захотели обобществить. Ведь только человеку советского воспитания может импонировать хлесткая формула «диктатура закона». Диктатура – это, с римских времен, именно чрезвычайная ситуация, когда действие законов временно приостанавливается. А действуют законы только вне диктатуры. Ей-то они и противопоставлены, а не частной свободе. Законопослушный человек, отдающий кесарю кесарево, свободней, чем нарушитель. Мне всегда искренне хотелось быть законопослушной, но только не отдавать кесарю Боже. Нормальный, законный кесарь этого и не требует. Вы спросите: где я видела таких нормальных кесарей? Видеть не видела, но полагаю, что они есть. Или могут быть.

По моему впечатлению, в эти годы, когда свободное высказывание было возможно, как, может быть, никогда в русской истории, ничего по-настоящему хорошего почему-то публично не говорилось. Хорошего нового, уточню: хорошее старое (до того запрещенное или перевернутое) издавалось, переводилось. В большой перспективе этот прорыв культурной блокады непременно скажется. Скажется и многое другое, что стало возможным только благодаря освобождению: хорошие частные школы, например, в которых растят совсем другого человека... Да много еще чего.

Нет, годы освобождения – не какой-то страшный провал, как любят изображать их наши левые. Но возможности – многие – упущены. Первая из них, по-моему, – окончательно освободиться от советского прошлого, вынести о нем решительное суждение. Такого суждения, общего, не было вынесено, и близко к тому не подошло. Обдумывать собственное прошлое кончили сразу же после победы Августа, после смехотворного суда над компартией. Было

ли это общее настроение – «не ворошить прошлого», не устраивать «охоты на ведьм», как тогда говорили? Или кто-то «не позволил», то есть, до полного освобождения от этого «кого-то» дело так и не дошло? Он только посто-ял в стороне, а теперь опять выходит на сцену. Если бы (что я уже сказала о виноватости) без всяких подобий Нюрн-берга, без всяких люстраций это прошлое было названо своим именем – преступное, может быть, иначе бы пере-носились и беды смутных времен. Может быть, те, чей при-вычный уровень благосостояния это разрушило, могли бы на минуту подумать: а может быть, это расплата? Надо же чем-то расплатиться за собственные дела. Мы грабили на-грабленное и передавали его по наследству, теперь и с нами так поступили... Мы всенародно осуждали Солженицына и Сахарова, а теперь ждем хорошей пенсии?

Вторая упущенная возможность – попытаться убедить нашего человека в благе законности. Это была бы дей-ствительно революционная перемена в нашей истории. Но, увы, сделать это убедительно можно лишь тогда, ког-да законы действительно не враждебны человеку, когда он не вынужден, просто чтобы выжить, нарушать наличную систему законов. Этого не произошло. Ни нового типа законности, ни нового отношения к законопослушности не возникло. Человек, обходящий законы (а таким сделан почти каждый житель нашей страны), абсолютно уязвим. Его всегда есть на чем поймать, и он это знает. Главной сво-боды – свободы чистой совести, сознания собственной не-виновности – он лишен. То, что ловить будут тоже не по закону, а по понятию, кого сейчас *нужно* – другой вопрос.

Вы можете спросить: а почему я говорю об этих освобож-денных годах как сторонний наблюдатель, как будто меня здесь не было? Кто мне лично мешал сказать то, что я счи-

таю нужным? Акустика, отвечу я. Это была такая акустика, что высказывания не только что мои, но куда более почетных людей, к которым прислушивались «до освобождения» (как вышеупомянутый Аверинцев), были совершенно не слышны. Серьезное, внутреннее, глубокое вдруг стало совсем не актуально. Как будто у мыслящих людей отобрали микрофон, а в него стали болтать, захлебываясь, новые культуртрегеры, диджеи. Я никогда не чувствовала себя такой ненужной дома, как в эти вольные годы. Все, что мне интересно и дорого, было здесь ни к чему. Поэтому я охотно ездила всюду, куда приглашали. И за это, между прочим, спасибо освобождению! В самом деле, огромное спасибо.

В.В.Бибихин как-то – в самом начале 90-х – сказал у нас в МГУ, на кафедре мировой культуры: «Нам будет стыдно за то, как мы прожили эти годы». С.С.Аверинцев, подумав, сказал: «Наверное, Вы правы». Да, для ученых главной наукой этих лет стала грантология. Для самых знаменитых – гастрольный туризм по всему свету.

И вот этот не происшедший переворот в отношениях отдельного человека и всего общества с законностью сказывается теперь в обсуждении «прав человека». Ведь признание этих прав – это область юридическая прежде всего. Не моральная, не религиозная, не противопоставленная «ценностям» и морали. Правовая в строгом смысле. Видимо, реальных документов, в которых изложены права человека, никто из их критиков не читал. А воображение рисует им то «право», о котором кричит пьяный мужик, когда лупцует жену: «А имею право!» или как говорил упомянутый критик: «Имеем право считать «Понтий» личным именем и употреблять с уменьшительным суффиксом, как у Айтматова: «Понтюша»! Но такого права –

права на невежество, так же, как права огреть кого захочется дубиной по голове (права, которое было у неандертальца, как говорит Солженицын), никакая хартия о правах человеку не предоставляет. Признание прав человека – это не отмена уголовного кодекса. И не отмена профессиональной дисциплины. Но обсуждают эти права так, как будто это отмена уголовного кодекса и разрешение каждому делать все, что заблагорассудится. А заблагорассудится ему, предполагается при этом, прежде всего «оторваться» и побезобразничать. Но права человека не об этом!

А.К. А о чем права человека?

О.С. О достоинстве отдельной личности перед лицом – в основном – могучих безличных инстанций: о достоинстве, юридически закрепленном. О защите *слабейшей* стороны: ведь в такой конфронтации – с государственной властью, с какими-то другими институциями или установлениями – отдельный человек, несомненно, слабая сторона. Об этом у нас не думают! Кто рассудит подданного с властителем, если этот подданный лишен формально установленных прав? Скажем, в числе прав гражданина Объединенной Европы есть право на хорошее начальство. Это значит: тот, кто определяет общую работу, должен быть прозрачен в своих планах, и подчиненный имеет право знать о них, поскольку это его лично касается. Человек имеет право, участвуя в общем деле, знать, куда это ведет и зачем это все затеяно. Разве это не справедливо, не естественно? Кому может не нравиться такое право? Отчаянному мизантропу, как Великий Инквизитор у Достоевского. Или тому, кому нужна полная свобода манипулировать другими. Им, конечно, удобнее «чудо, тайна и авторитет».

А.К. С понятием о правах человека в России очень много проблем. Для того чтобы представление об этих правах утвердилось, нужна своего рода культурная революция.

О.С. С правами человека в их реальном исполнении везде много проблем. На наших глазах в последние годы «свободный мир» сдает их под угрозой терроризма. Кто поверил бы, что человек, уже столетия живущий с чувством гарантированной телесной неприкосновенности *habeas corpus*, в поле действия презумпции невиновности, позволит себя ощупывать, разувать и шмонать, как теперь в любом аэропорту мира? Там тоже начинается «чрезвычайка», «необходимость» (а что еще делать в такой ситуации?). Между безопасностью и свободой общество выбирает безопасность. Утешает, что не без сопротивления.

Но главное – признаются ли эти права по существу, как некоторый горизонт, как фундаментальное – *sine qua non* – основание современной цивилизации. Признаются ли они не только властями, но и самим населением? Я не вижу, чтобы у нас многие (в том числе, весьма просвещенные люди) эту реальность признавали и чтобы эти права их радовали. Например, конкретное право: на жизнь. Из него следует запрещение смертной казни. Меня это запрещение радует, но очень многих – совсем нет. Вы правы, здесь требуется не меньше, чем культурная – или, скорее, моральная – революция, перемена какого-то самого общего самочувствия. От привычного у нас самочувствия человека в чрезвычайном положении (когда какие-то крайние обстоятельства – знаменитая марксистская «историческая необходимость» – вынуждают делать то, что «вообще-то» нехорошо, несправедливо, незаконно) пришлось бы перейти к другому самочувствию, где «вообще-то» и «в этих конкретных